

САЛОН Е.А. САЛИАС*

Поздней осенью 1851 года (И.С.) Тургенев, проезжая в Петербург, пробыл в Москве несколько времени и виделся со мною не раз и познакомил меня с графиней Салиас, в доме которой я потом встречал Кудрявцева, Грачовского, М.Н. Каткова, П.М. Леонтьева, Е.М. Феоктистова, графиню Ростопчину, Щербину, В.П. Боткина и раза два видел автора «Свадьбы Кречинского», Сухово-Кобылина. Это был тогда очень смуглый и очень красивый брюнет, собою видный, рослый, с чрезвычайно энергичным выражением лица. Он мне очень понравился.

Напротив того, В.П. Боткин, которого письмами об Италии я еще года за два до этого восхищался, читая их в «Современнике», пришелся мне вовсе не по сердцу.

Около того же времени, в 52-м или 53-м году, я написал отрывок «Зимнее утро в помещичьей опустелой усадьбе»; он со временем стал 1-й главой моего большого романа «Подлипки», который я напечатал в 61-м году, почти десять лет спустя.

Я помню, встал я раз зимою довольно рано; комнаты у меня были тихие, отдаленные и хорошие. Мне стало очень грустно и очень хорошо. Я вспомнил о своем родном Кудинове, в котором я давно уже не был; кажется, вообразил себе, что я там один-одинешенек... И мне захотелось туда смотреть «на бледную вечернюю зарю, умирающую за зимним поредевшим садом»... Я затворил внутренние ставни, в окнах, чтобы легче забыть и город, и все на свете; велел слуге сварить поскорее побольше шоколаду и купить несколько хороших сигар.

* К. Леонтьев. Собрание сочинений. Т. IX. Воспоминания (1831—1868). П, с. 103, 127—128, 133—134.

Сел и написал этот отрывок. На другой же день, кажется, свез его к графине Салиас, с которой давно уже познакомил меня Тургенев. Там были Щербина и Кудрявцев и, конечно, Феоктистов.

Я прочел.

— Quel magnifique tableau de genre! — воскликнула графиня. — Лучшие из русских поэтов не постыдились бы подписать под этим имя свое.

Кудрявцев и Щербина тоже хвалили. Феоктистов всегда удивлялся ранней зрелости моих описаний.

Что касается до меня собственно, то я, вспоминая об этой зимней картине, вспоминаю также и слова Каткова, сказанные им мне гораздо позднее:

— Что ж такое — теплота? Теплота в душе и остается, а на бумаге не выйдет!

Мне теперь это описание не нравится. Если находишь, что описания Тургенева верх совершенства, то и мое ничуть не хуже. Но в том и дело, что *оба хуже*.

Описания хороши или очень величавые, неопределенные, как бы носящие духоподобно (таковы описания в Чайльд Гарольде), или краткие, мимоходом, наивные.

Мое зимнее утро и все почти описания Тургенева грубо реальны, хотя и были согреты очень искренним чувством. Другое дело также простые, мужественные описания старика Аксакова в «Хронике»!

Тут нет тех фальшивых звуков, взвизгиваний реализма, которыми богат Тургенев и которыми платил дань и я... увы... под влиянием его и других...

Например: «Собака, испуганная незнакомыми посетителями, вся взъерошилась от ужаса и гнева и преследует быстро убегающие сани»... Фу! как скверно! Это я писал. Это зовется «реализм».

Итак, все продолжали меня хвалить и ободрять.

Краевский писал мне из Петербурга чуть не почти-

тельное письмо и говорил: «Пишите больше! Вы не имеете права зарывать ваш талант в землю».

Катков, который тогда не был еще в славе и издавал «Ведомости» на казенный лад, тоже очень хорошо принимал меня, когда я приходил к нему за советами, и, я помню раз, провожая меня на лестницу, подавал мне сам шинель.

Имел ли я, неопытный юноша, право тогда, или не имел, после всего этого поверить серьезно в мое призвание?

В эту же зиму (53-го года, если не ошибаюсь) наследник и Орлов выхлопотали прощение Тургеневу, и ему позволено было возвратиться в столицу. Он рассказывал, что madame Смирнова («черноокая Россетти») и Блудов вредили ему. За что — я помню, но здесь долго рассказывать.

Тургенев приехал в Москву... Я узнал, что он сидит у madame Салиас, и поехал прямо туда. Там, кроме него и, конечно, Феоктистова, был этот набитый дурак — Валентин Корш. Корш все время молчал и смотрел на Тургенева из угла со священным ужасом.

Тургенев был в темно-зеленом бархатном сюртуке. Очень весел и насмешлив... Рассказывал про Орел, декламировал стихи Фета, которого он очень любил, острил, даже представлял кое-кого в лицах.

В рассказах его про Орел я помню многое, что отозвалось года через два в повестях его «Два приятеля» и «Затишье».

Мне ужасно он нравился; все в нем и у него было крупно. Я никогда не завидовал ему, а всегда любовался им... Пришлось, однако, и его пожалеть на минуту.

Полулежа на диване у madame Салиас и в какой-то львиной позе потрясая своими кудрями, он сказал вот что:

— Главное дело для писателя — это уметь вовремя слезть с седла. Садиться на коня ему трудно, страшно, он не умеет. Потом он овладеет и конем и собой. Ему легко. Но потом приходит время более трудное, чем приступ; как понять, что пора сойти со сцены с достоинством?

— Я не говорю, — продолжал он, — о таких ничтожных фотографах, как мой приятель Панаев, а лишь о тех людях, у которых есть хотя немного художественности, например, о Писемском, Гончарове, о себе. Он мне ужасно нравится за то, что он меня терпеть не может и бранит мои вещи за многое очень основательно. Ни от меня, ни от Писемского, ни от Гончарова он *нового слова* не дождется. Его могут сказать только двое молодых людей, от которых можно много ожидать... Лев Толстой и вот этот.

И, не меняя своей барской позы, он указал на меня просто пальцем.

Я даже не покраснел и принял это лишь *как должное*.

Тургенев продолжал утверждать, что ни он, ни Писемский, ни другие, им подобные, уже ничего больше хорошего не скажут*.

К. Леонтьев

* В письме А.И. Тургенева 11 января 1843 года есть упоминание об этом салоне: «Графиня Салиас-Турнемир (Сухово-Кобылина) собрала весь блестящий мир; я любезничал с незнакомыми почти до двух утра!»

Подробности в «Воспоминаниях» К.Н. Бестужева-Рюмина, 1900, с. 28—33 и у Е.А. Салиаса («Исторический Вестник», 1898, январь, с. 90—92). Ср. также в романе Лескова «Некуда» едкие странички о салоне маркизы К.Г. де Бараль.